# С Константином Михайловичем Долговым беседует Михаил Сергеевич Найденкин

Беседа записана 00 000 2012 года

Константин Михайлович Долгов (р. 1931) — доктор философских наук, профессор; специализируется на философии искусства, эстетике, культурологии и политике; главный научный сотрудник Института философии РАН (с 1972); заслуженный деятель науки РФ; президент Российской эстетической ассоциации; член исполкома Международной эстетической ассоциации; член Парижского психоаналитического общества.

К.М. Долгов рассказывает о своем крестьянском детстве, о переезде семьи в Бухару и Харьков, о работе на военном заводе в годы Великой Отечественной войны, о службе на флоте и поступлении на философский факультет МГУ. Он вспоминает о своих конфликтах с ретроградными преподавателями и сотрудничестве с крупнейшими философами современности, о поступлении на аспирантуру в Институт философии и о работе на должности директора в издательстве «Искусство».

Теги: Герцен А И, Институт философии АН СССР, Институт философии РАН, Ленин В И, Сталин И В, Троцкий Л Д, Бухарин Н И, Косичев А Д, Чернышевский Н Г, Добролюбов Н А, Белинский В Г, Гегель Г В Ф, Кант И, Маркс К, Энгельс Ф, Ойзерман Т И, Асмус В Ф, Мельвиль Ю К, Овсянников М Ф, Щипанов И Я, Шелгунов Н В, Самарин Ю Ф, Соловьев В С, Леонтьев А Н, Гальперин П Я, Таванец П В, Попов П С, Ильенков Э В, Зиновьев А А, Белецкий З Я, XX съезд КПСС, Декарт Р, Иовчук М Т, Лукач Д, Петровский И Г, Гранин Д А, Пикассо П, Хохлов Р В, Садовничий В А, Средний Д Д, Дробницкий О Г, Осипов Г В, Федосеев П Н, Кедров Б М, Лекторский В А, Жданов Ю А, Мотрошилова Н В, Вагнер Р, Институт общественных наук при ЦК КПСС, Курсанов А Л, Егоров А Г, Шостакович Д Д, Семенов Н Н, Амбарцумян В А, Уланова Г С, Козловский И С, Свиридов Г В, Томский Н В, Суслов М А.

**Константин Михайлович Долгов (далее – К.Д.):** Прежде всего я хотел бы поблагодарить за интерес, который вы проявили ко мне, к моему творчеству. Я, так же, как и вы, учился на философском факультете, окончил этот факультет с отличием и затем занимался самыми различными видами деятельности, хотя, при всех видоизменениях, не переставал интересоваться, изучать и писать по наиболее интересным философским вопросам.

Откуда во мне появился интерес к философии? Я родился в селе Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области. Семья наша была обычной крестьянской семьей. Отец, Михаил Иванович Долгов, был довольно высокий, крепкий, сильный человек. Мама, тоже из крестьян, Романова Мария Андриановна, была очень красивой женщиной, с длинными косами чуть не до земли. Они оба были очень веселыми, сильными натурами и, естественно, у них было хорошее, крепкое хозяйство. У нас была и лошадь, и корова, и мелкий скот, и птица, то есть жили хорошо, зажиточно. Конечно, все это доставалось своим трудом, никого никогда не эксплуатировали, просто работали с утра до ночи. Поэтому я с ранних лет узнал, что такое земля, как она пахнет, аромат земли, аромат леса, который окружал наше село.

Село было очень большое, оно так и называлось — Большие Поселки, оно растянулось на семь километров вдоль реки, которая называлась Барыш. У реки — заливные луга. Весной обычно разливалась речка и заливала все эти луга, и потом луга давали пышные травы. Аромат этих трав... как бы... я чувствую его до сих пор и ни с чем не могу сравнить. Никакие самые утонченные духи Парижа... не могут сравниться с ароматом трав, которые росли на заливных лугах, или с ароматом леса, настоящего леса, как бы первозданного, нетронутого по существу. Крестьяне очень бережно относились к лесу, и, конечно, никогда ничего не воровали понапрасну, только то, что само по себе отсыхало, это и использовали. И затем сама земля весной, когда начинались пахотные работы, крестьяне начинали ухаживать за своими огородами, копать, сеять. Это было совершенно поразительно, потому что область эта вся была — черноземье. Когда солнце нагревало землю, земля источала такой удивительный аромат, что мы, будучи маленькими (а нас было вначале три брата, я — средний, старше меня — Гриша и младше меня — Саша, и Саша еще ползал, совсем маленький был, как я помню, да и мы все ползали по огороду), и вот эту землю, она настолько нас, видимо, опьяняла своим ароматом, что мы начинали просто ее брать руками и пробовать, то есть как бы угощаться землей. И тогда уже мама подбегала: «Что вы делаете?! Разве можно есть землю?» — а мы смеялись, радовались и все равно пробовали землю на вкус. Она была для нас самым вкусным из всего, что мы, дети, ели. Это поразительная совершенно вещь.

Мы росли в этом селе. Тогда игрушек покупных не было, все делали сами. Игрушки лепили из глины или вытачивали и вырезали из дерева, и поэтому творческая жилка, она у крестьян в крови. Крестьяне с самого детства с молоком матери впитывают творчество. Ребенок, еще, может быть, не осознавая себя, а может быть, уже как раз с приходом этого осознания или самосознания, крестьянский ребенок, крестьянское дитя сразу начинает говорить: «Не надо, я сам, я сам, я сам, я сам». Он все старается делать сам. Это совершенно удивительное качество. Может быть, оно присуще всем детям, и, видимо, так и есть, но крестьянским детям в особенности.

Я родился в 1931 году 14 июля, это были лихие 1930-е годы. В это время началась кампания раскулачивания, ликвидации кулачества как класса. Я тогда ничего этого не знал и не понимал, это потом уже мне стало известно. А тогда просто, помню, собирались мужики у нас дома, соседи наши, очень хорошие, трудолюбивые, честные, удивительные люди, настоящие хлеборобы, или, как говорил Некрасов:

Назови мне такую обитель,

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,

Где бы русский мужик не стонал.

Вот это были сеятели и хранители земли Русской. На них держалась Русь. Они сеяли, засевали, кормили всю Русь. И они же ее защищали. Крестьянство (я потом это понял), в отличие от других слоев населения, — наиболее универсальный слой человеческого общества. Именно крестьяне. Потому что крестьянин связан с землей самыми различными узами, и он связан с ней неразрывно.

А что значит быть связанным с землей? Это — создавать и жить в особом мире. Мир крестьянина — самый богатый мир. Потому что это мир и человека, и живых существ, животных, и диких, и одомашненных, и это мир, конечно, высочайшей духовности, высочайшей твердости и крепости духа. И в этом смысле крестьянский мир, хотя его довольно часто игнорировали (и особенно после революции, после Февральской революции, после Октябрьской революции, а на Западе и гораздо раньше, за несколько, может быть, столетий), что, мол, крестьянство, крестьянин — отсталый элемент. Это абсолютно неправильно, потому что крестьянин живет всеми соками земли и всеми соками жизни как таковой. Ведь посмотрите, крестьянин умеет говорить с любыми животными, с любыми птицами, с любыми растениями, с любыми деревьями. Он знает язык природы во всем его многообразии, потому что он с детских лет, с младенческих лет начинает не то что знакомиться, а вступает в непосредственный контакт с живыми существами, и с лошадью, и с коровой, и с овцами, с утками, с курами, с собаками, кошками. То есть его мир настолько богат, настолько разнообразен, и это настолько утонченный мир, что считать крестьянина отсталым человеком — полный абсурд.

Наоборот, если бы меня спросили: «А кто же из людей, кто из социальных слоев любого общества любого времени является наиболее универсально развитым человеком?» — я бы, не сомневаясь и не колеблясь, сказал: «Крестьянин. Крестьянин». Не интеллигент, не инженер, не даже какой писатель, музыкант, не рабочие самого современного производства, а именно крестьянин. Это универсально развитая личность. Он делает все сам от начала и до конца. Это совершенно поразительно. Он строит свой дом, крестьянские избы. Он изнутри его украшает, весь интерьер делает, всю мебель, которая в доме: стол, стулья, все что угодно, все сам делает. Это поразительно. Он одновременно делает и орудия производства своего, скажем, борону или плуг, еще что-то. Все делает сам. Он возводит конюшню для коня, хлев для коровы. Причем делает все это настолько добротно, что это живет иногда сотнями лет. Такого качества. И делает все сам, собственными руками.

**Михаил Сергеевич Найденкин (далее — М.Н.):** Получается, у вас некоторая апология традиционного общества и натуральной формы хозяйства.

**К.Д.:** Это даже не апология, я вам скажу другое. Недавно была конференция в Институте философии по Александру Ивановичу Герцену, и я там выступил с докладом, доклад опубликован. Из Герцена делают какого-то либерала, самого, так сказать, заурядного современного либерала. Ничего подобного. Герцен был и остается революционером, безусловно. Но каким революционером? Ленин упрекал Герцена в том, что он идеализирует крестьянскую общину. Это был ошибочный упрек, потому что Герцен не идеализировал общину, а он прекрасно понимал, что такое крестьянин, что такое крестьянский мир и что такое крестьянская община, и поэтому он говорил, что революция неизбежна и необходима, но при всех социальных трансформациях необходимо сохранить крестьянскую общину. Другой вопрос, что эта община должна пройти через горнило революции, но она должна оставаться, потому что крестьянский мир и крестьянская община — основа существования человека и человечества. И он был абсолютно прав.

Поэтому я, родившись в селе, все это постигал на себе, всю эту крестьянскую жизнь, весь этот крестьянский мир, уклад, и я знаю это, как говорят, с пеленок. И я считаю, что это величайшее, величайшее призвание человека — быть земледельцем, жить и трудиться на земле. Как в Библии говорилось: живите, владычествуйте и размножайтесь, владычествуйте на этой земле. Что значит владычествуйте? Это не значит хищнически разорять землю ради долларов и прочее, распродавать ее направо и налево. А напротив, владычествуйте — это усовершенствовать землю, делать ее еще более прекрасной, чем она была и есть, — в этом состоит владычество. А кто это делает? И кто это может делать? Прежде всего это делали, делают и будут делать люди земли — крестьяне, хлеборобы, как их часто называли, земледельцы. Вот в чем...

**М.Н.:** То есть они обладают экологическим сознанием, говоря современным языком?

**К.Д.:** Да. Я думаю, что у них святое отношение к земле...

**М.Н.:** ...Скорее бессознательное?

**К.Д.:** …особенно у русского человека. У него ведь отношение «Мать-земля», «Мать — сыра земля», «Мать — сыра земля Богородица». «Мать — сыра земля» — это самое ласковое, самое нежное, самое высокое, что ли, название земли как таковой, потому что человек происходит из земли, человек выходит из земли, человек трудится на земле и человек возвращается в эту же землю. Есть в этом что-то святое и священное. И для настоящего человека земля — это не просто материал для чего-то, а земля — это живое существо, с которым надо иметь самые нежные, самые чистые отношения. Земля — это что-то действительно святое и священное для настоящего человека. И поэтому человек, где он родился, — неважно, где он потом скитается, может быть, по всему миру, — но когда он уже приходит к своему пределу, когда он оказывается накануне перехода в мир иной, всегда мечтает о том, чтобы вернуться на свою землю и упокоиться в земле, которая его породила и к которой он обязан вернуться, независимо от того, где он был, где он жил, что он делал, потому что это и есть самое высокое понимание родины, самое высокое понимание патриотизма, самое высокое понимание человечности как таковой. Потому что человечность, она касается не просто человеков, других людей, она касается всего мира и прежде всего — земли, из которой появился или на которой появился человек, на которой он жил, трудился, и которая, как родная мать, независимо от того, как ведут себя дети, блудные они или благородные, она любого из них всегда примет и простит. Так и земля. Она всегда примет своего родного человека, простит ему все и упокоит его в своих недрах. Земля и крестьяне, связанные с землей, — это один из самых возвышенных, самых высоких миров, который нельзя переоценить, который можно только недооценить, и этот мир всегда недооценивался.

**М.Н.:** Разрыв с этим миром начался в Новое время и все увеличивается и увеличивается...

**К.Д.:** Да.

**М.Н.:** ...с научно-технической революцией, с индустриализацией...

**К.Д.:** Да-да.

**М.Н.:** ...с урбанизацией...

**К.Д.:** Да-да-да. Разрыв между человеком и землей все время увеличивается, к сожалению. А это трагедия. Это, в конечном счете, приведет к трагедии, катастрофе, потому что отрыв человека от земли — самая печальная и самая опасная из всех опасностей, которые подстерегают человека и человечество. Мы еще, я думаю, об этом поговорим.

**М.Н.:** А вы помните, как ваше огромное село пережило индустриализацию и коллективизацию, как относились родители ваши к этому?

**К.Д.:** Да, помню. У нас собирались мужики. Я еще был маленьким, может быть, мне было года два-три, но уже соображал что-то. Мы, конечно, были в другой комнате, потому что взрослые сидели сами по себе и беседовали, но мы слышали (специально не слушали, но поскольку туда-сюда бегали, слышали) какие-то обрывки. Например, я слышал такие слова, что самым ненавистным из всех деятелей того времени (мы тоже никого из них не знали, дети), назывались имена Сталина, Троцкого и еще целого ряда деятелей, Ленина, естественно... Больше всего ругали крестьяне (соседи наши, мужики, друзья моего папы) Сталина и Троцкого. Больше всего. И хвалили — ну как хвалили, во всяком случае, одобрительно иногда отзывались о Бухарине. Вот это удивительно. Я помню просто отрывки какие-то. О чем там шла речь, я еще не понимал, но имена эти запомнил и запомнил, кого ругали, а кого хвалили.

Причем единственное, что еще запомнилось, что страшные налоги были. Специально (они прямо говорили между собой) такие налоги вводили, что крестьянин не мог никак это заплатить, и у него тогда отбирали лошадь, поскольку он не мог уплатить налоги, затем корову, затем уже все остальное, мелкий скот и прочее. И разоряли полностью человека. Вот эта политика проводилась.

И вот это огромное село стало как бы пустовать постепенно. Одни уезжают, другие уезжают, мы, дети, ничего не понимали, почему уезжают, куда уезжают. Оказывается, поскольку отнимали вначале лошадь, потом корову – что для крестьянина, какая жизнь на селе, в деревне, если нет лошади и коровы? Это все, конец. И поэтому вынуждены были уезжать. Уезжали кто ближе к Москве, кто, наоборот, в Сибирь, кто в Среднюю Азию.

В общем, это огромное село, на семь километров в длину раскинувшееся, начало опустошаться. Уехал наш дед. Он был очень зажиточный, он не был кулаком, но у него был большой сад, земли больше, чем у других, но все это обрабатывалось своими силами. У него была семья из шести дочерей (моя мать — одна из них) и одного сына, семь человек детей. И вот их двое и семь человек — девять человек, они вдевятером обрабатывали землю. Жили очень хорошо, зажиточно. Начали разорять, начали отнимать, лошадь вначале, затем корову и так далее.

Дед вынужден был уехать, он одним из первых уехал. Он воевал еще во время Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер, очень сильный мужчина, есть снимки. Это был поразительный человек. Вот он уехал в Среднюю Азию и там спокойно стал работать, но уже он превратился просто в рабочего, хотя был крестьянином. За ним последовали другие, в конце концов и наша семья поехала к нему, поскольку переписывались, и он писал, приезжайте, работы много, работа хорошая, быстро можно квартиру получить, и работа хорошая, и можно спокойно жить. В конце концов уехал вначале отец, папа уехал туда, к деду, а через некоторое время он написал, чтобы и мама вместе с нами, с тремя детьми, ехала к нему, окончательно.

**М.Н.:** А куда именно?

**К.Д.:** В Среднюю Азию, в город Бухару. И однажды она нас всех собрала… Конечно, она плакала, причем плакала безутешно, потому что бросала свой дом, бросала все... Сколько она там прожила, с детства жила в селе, все были свои, знакомые, родные — и вот вынуждена была все это покидать. Папа-то, когда уезжал, тоже страшно переживал, но не подавал вида, а она плакала безутешно, мы ее все успокаивали. И вот мы все поехали, перед войной уже, поехали туда. И там отец устроился на стройку, он был хороший столяр и плотник, настоящий, помимо того, что это был крестьянин выдающийся, он был еще хороший столяр и плотник. Он устроился там на работу и хорошо зарабатывал, и мы жили очень хорошо до войны.

Но началась война. Мы учились в школе, старший брат и я, у меня даже грамота где-то есть, с изображением Ленина и Сталина, почетная грамота за отличие в учебе...

**М.Н.:** Вы хорошо учились, да?

**К.Д.:** Да, я учился всегда очень хорошо, все с отличием, и поэтому получал всегда грамоты. И вот нас застала война.

**М.Н.:** А вы помните, каким образом вы узнали о том, что...

**К.Д.:** Война? Да. Мы, конечно, уходили за город, купались, загорали, и даже когда прохладно было, холодно, нам все было нипочем. Но однажды, когда был очень холодный ветер, мы купались, продрогли, и нас просквозило, и мы, младший мой брат и я, заболели. Старший остался здоровым, младший брат быстро вылечился, а я заболел легкими, видимо, очень сильно простудился, и меня положили в больницу. Это лето было, июнь месяц, а почему простудились — там горные речки холодные очень. И вот утром шум в больнице. Больница небольшая, мы вышли на улицу, смотрим, висит тарелка, репродуктор, и вокруг тарелки стоят мужчины, женщины, врачи, санитары, санитарки, уборщицы, — все, кто больницу обслуживает, стоят и смотрят на нее, и слезы текут, и там голос, что сегодня ночью Германия напала на Советский Союз.

И женщины буквально некоторые начали не то что плакать, а рыдать, потому что поняли, какое несчастье пришло и сколько придется выстрадать всем, и неизвестно еще, как эта война, чем она кончится. Я это видел своими глазами, как взрослые женщины и мужчины, слушая сообщение о начале войны, как они переживали. Мужчины просто окаменели. А женщины, у них стекли слезы, и некоторые плакали, а некоторые начали просто рыдать с криками какими-то страшными. Это было незабываемо.

И на другой же день (больница рядом с вокзалом) мы уже видели (ну какой там забор, так, частокол), как пошли отряды простых людей, еще даже не переодетых в военную форму, прямо на вокзал. Там поезда уже, вагоны старые еще были, и их прямо туда и, видимо, на фронт. Если не на фронт, то, во всяком случае, куда-то отвозили. То есть сразу же, на второй день, пошли эшелоны с новобранцами. Это было начало войны.

И с этого момента жизнь переменилась начисто. Через некоторое время стали приходить эшелоны с ранеными бойцами, офицерами. Их стали располагать в санаториях, домах отдыха, в спортивных залах, — где были помещения большие, там и располагали. Естественно, сразу устраивали госпитали военные, поскольку они были кто без рук, кто без ног, в общем, тяжелораненые. И их везде располагали, и мы увидели, что такое война, что такое фронт, почувствовали по этим эшелонам, которые приходили с тяжелоранеными бойцами.

И эшелоны стали приходить с эвакуируемых территорий, в основном это были женщины и дети, большей частью женщины и дети. Детей было много. Мы приходили и смотрели. У многих не было родителей, они погибли или, не знаю, на фронт их взяли, и они остались беспризорными, по существу, и вот этих детей все местное население (а что это за население: в Бухаре в то время жили таджики, узбеки, татары, евреи, казахи, киргизы, корейцы, трудно даже перечислить — огромное количество национальностей), и вот все эти национальности, семьи, приходили на вокзал... Вот приходит женщина, у нее пятеро или больше своих детей, из вагона выходят дети, и она вот так руки расставляет, берет, сколько обхватит, детей, и говорит: «Дорогие мои, вы мои дети, вы мои». Берет детей, уходит с ними и со своими детьми к себе домой. И начинает за ними ухаживать так же, как за родными детьми, и, таким образом, спасали и выращивали этих детей. Я сам свидетель этому. То есть ни о каком национализме, ни о каких этих вещах даже помину не было. В голову не могло человеку прийти, чтобы на национальной почве какие-то ссоры: ты, условно говоря, русский, а вот ты татарин, а вот ты еврей, а ты казах, а ты кореец и так далее. Никому в голову не приходило. У нас в классе чуть не за каждой партой сидели дети разных национальностей. Мы учились все дружно, учились и жили как одна семья. Нас кормили бесплатно завтраком, а то и обедом, подкармливали детей – государство естественно — бесплатно. Конечно, не хватало учебников, не хватало бумаги, не хватало тетрадей, мы писали на чем попало, как попало, но учились. Единственный протест, который мы выразили в самом начале: у нас был основной иностранный язык немецкий, и мы всем классом решили отказаться от изучения немецкого языка как языка фашистов. Но нам учителя разъяснили, что это неправильно, что, наоборот, этот язык, он не язык фашистов, а язык немецкого народа, а немецкий народ — великий народ, народ великой культуры и так далее, этот язык надо изучать, надо знать. И мы, конечно, вернулись к изучению немецкого языка. Я как сейчас помню учебник, который вышел тогда, по которому мы стали впервые изучать, не помню, какой это — первый класс, второй класс:«Иф хаус ист айн гартен...» (*Цитирует стихотворение на немецком.*) Такое стихотворение прямо на первых страницах учебника. Я как-то чуть не весь учебник сразу выучил, очень легко все давалось, и потом дальше вроде и нечего делать было, нечего изучать, я, по существу, на память знал все страницы учебника.

**М.Н.:** Скажите, а ваш отец, старший брат, они не оказались на фронте?

**К.Д.:** Они что?

**М.Н.:** На фронте не оказались ваш отец и старший брат?

**К.Д.:** Значит, заводы сразу стали прибывать. Эшелон прибывает со станками, и тут же, прямо в поле, устанавливают станки, навес, и буквально через несколько дней все станки начинают работать. Я ничего подобного ни до, ни после не видел. Чтобы сразу, с ходу, прибывают эшелоны — и через несколько дней начинают работать станки. Это невероятная вещь. Такая была организация.

Отца на военный завод определили вначале, брат еще совсем молодой был, ему было шестнадцать лет, его тоже на завод этот военный. И буквально прошло месяц или два, отца призывают. Он, естественно, говорит: «Да, я, конечно, пойду». Его в военкомат, из военкомата прямо на вокзал, в эшелоны. Мы его пошли провожать. Уже он сел в вагон, и вдруг военные идут, несколько человек военных, подходят, говорят отыскать таких-то, называют фамилии, в том числе отца. Их разыскали, приводят, [они] говорят: по особому распоряжению эти несколько человек остаются, потому что иначе на заводе некому работать. Отец в это время стал, поскольку завод военный, там разные снаряды выпускали, он создавал пуансоны, матрицы, которые производили, условно говоря, патроны или что-то, и он делал вначале из дерева эти вот...

**М.Н.:** …Формы.

**К.Д.:** Формы, да. Потом это отливали, и потом уже штампы делали, эти вот штампы уже выдавали готовую продукцию. А брат слесарем-лекальщиком был, то есть самые тончайшие вот эти приборы делали. И вот брата, отца и еще человек пять или шесть, их прямо из вагонов вызвали и с этими военными отправили на завод. И они там работали, по нескольку суток не приходя домой, всю войну. Там некому особенно работать было, несколько специалистов было, без которых завод не мог работать, а остальные — женщины и дети, все остальные ушли на фронт. Женщины и дети, еще два-три старика, совсем уже инвалиды. И вот так работали.

Я потом тоже поступил на завод. Мне было тринадцать лет, я не доставал до станка, до тисков, и нам сделали подставки высокие, чтоб мы могли доставать до станка и до тисков и чтоб мы могли работать, потому что мы маленькие были совсем. Но мы тоже хотели работать и стали работать. Война перевернула всю жизнь у всех: и у детей, и у взрослых.

Время было страшное. Хлеб выдавали по карточкам: четыреста граммов иждивенцам (детям, скажем, маленьким), четыреста граммов в сутки, кто работал — шестьсот граммов, иногда восемьсот — взрослым, мастерам на заводах. Но какой это был хлеб? Это было что-то, внешне похожее на хлеб, что там было на самом деле, трудно сказать. И тем не менее голодные, холодные, рваные, разутые, раздетые, все работали кто где мог. И главное: ни у кого не было никаких сомнений, что мы победим. Это не вранье и не лозунг, это истина. Я сам не то что свидетель, я все это видел, знал, наблюдал. Это совершенно поразительная вещь, просто поразительная.

**М.Н.:** А депортированные корейцы, которые были рядом с вами?

**К.Д.:** То же самое, точно так же работали. И депортированные корейцы, потом туда сослали крымских татар, потом ингушей и чеченцев, в Среднюю Азию, в разные города. Все работали. Бывали какие-то уклонения от воинской службы, дезертиры так называемые, но их быстро вылавливали, потому что в то время не то, что сейчас: кто-то совершил преступление, и никак не могут найти, — тогда мгновенно находили. Мгновенно находили.

Я помню, например, когда начались грабежи, а грабежи какие — за хлебом уходили с вечера, занимали очередь, чтобы получить по карточкам хлеб, и вот некоторые начали грабить людей, отнимать у них хлебные карточки. А отнять хлебную карточку — это значит человека обречь на голодную смерть. И вот участились эти случаи, и дошло, видимо, до верха, и была дана команда: трое суток, найти всех бандитов и уничтожить. Всех нашли. Даже более того, нашли и тех, кого раньше, видимо, бросили искать, — всех нашли. И после этого в любое время суток ходи куда угодно, никто тебя нигде не тронет. То есть был полный, абсолютный порядок.

**М.Н.:** А после войны?

**К.Д.:** Ну, после не все закончилось, у нас сложная история. Этот завод, который был эвакуирован в Бухару, его снова решили вернуть на Украину, в Харьков, военный этот завод. А только-только город освободили от немцев (он несколько раз переходил из рук в руки), и уже было ясно, что мы победим, тут вопроса уже нет, и эти заводы начали вывозить на те места, откуда привозили, в том числе и этот завод в Харьков. И кто работал на нем, основные работники, их тоже — в приказном порядке, вместе с заводом. И поэтому отец, брат — вся семья, мы приехали в Харьков.

Нас поместили в доме, где снарядом полдома было взорвано, только стены были. Привели нас туда, говорят: здесь вы будете жить, надо все это оборудовать, стены, крышу и прочее. И отец начал все это делать, ему в помощь дали несколько человек, и они быстро-быстро эти полдома заново построили, по существу. Мы там стали жить в двух маленьких комнатах, в Харькове. А отец с братом на заводе продолжали работать. Я поступил вначале на завод, а потом уже в школу, и мы начали [жить] уже на Украине.

Но война еще шла. И в это же время огромное количество военнопленных немцев привезли. Там было огромное здание, и их туда поселили. Они потом ходили везде, расчищали что-то, там же все было взорвано, ни одного здания целого не было, все было взорвано, надо было заново все построить. Заводы все заново почти возвести, и жилье, в общем, все-все-все, потому что одни руины были. И вот немцы военнопленные, они там и работали, помогали, во всем своем обмундировании, со всеми наградами, крестами, погонами. Генералы, полковники, как были, так и остались в этом, пока их обратно в Германию не отпустили.

В это время, чтобы разорение, которое война нанесла нам, нашей экономике, всему хозяйству, надо было быстро все восстанавливать. А кто будет восстанавливать? Вот в это-то время и создали систему трудовых резервов, для молодежи, буквально для мальчишек и девчонок, чтоб они шли в ремесленные училища, получали специальность и сразу включались в производственный процесс. И в эти ремесленные училища как раз очень много [попало] детей беспризорных, хотя их было гораздо меньше, чем сейчас. Во время войны беспризорных детей было гораздо меньше, чем в 1990-е годы и даже сейчас. Это поразительная вещь. И всех нас, кто там был, совсем маленьких, определили в ремесленные училища, учили специальности, я электрика получил специальность. И опять на заводе стали работать.

Я работал на заводе и учился в вечерней школе, причем образование было поставлено великолепно во всех отношениях. То есть государство заботилось о том, чтобы все учились: и взрослые, и дети. Вся эта система вечернего, заочного обучения, причем и средняя школа, и высшее образование, все это было настолько разветвлено и отлажено, что действительно весь народ учился. Кто хотел — все учились. И поэтому у нас был не просто рабочий класс, а высококвалифицированный рабочий класс. По всем отраслям промышленности и сельского хозяйства. Вот это совершенно очевидный факт.

В это же время у нас начали демобилизовывать. Была Финская война, после Финской довольно быстро началась Великая Отечественная, две войны подряд. Мой крестный отец, Михаил Андрианович, он и на Финской был, а затем на Отечественной, столько лет. Сорок девять ранений, контузий и прочее, наград огромное количество, и живым еще пришел к тому же. Так вот, этих людей после войны стали отпускать домой, и образовался вакуум — кому же служить-то? И начали брать совсем молодежь, даже кому не исполнилось соответствующего количества лет. И был объявлен комсомольский призыв на флот, в авиацию, в армию в целом. Нас вызвали в райком комсомола, говорят, давайте, надо поддержать армию, флот и прочее, сами определяйтесь, кто куда и как. И призыв такой был, нас определили на военную службу немного раньше, чем положено. Комиссию проходили довольно строгую, меня взяли на флот и послали...

**М.Н.:** В каком году?

**К.Д.:** Это был 1948 год...

**М.Н.:** Вам было семнадцать лет?

**К.Д.:** Семнадцать лет, да. Семнадцать лет только исполнилось, и меня взяли на флот. Приехали мы в Ленинград тогдашний, и на Большом проспекте был Особый отряд подводного плавания противолодочной обороны. Началась очень серьезная учеба, изучение дисциплин достаточно сложных, которые связаны с подводными лодками и надводными кораблями. Так я попал на флот, где и отслужил пять с лишним лет.

**М.Н.:** Почему так долго?

**К.Д.:** Тогда пять лет служили на флоте. Это сейчас служат, я не знаю, год в армии, два-три года на флоте, а тогда пять лет была нормальная служба. После этого я вернулся снова домой, надо было учиться, поступать куда-то.

**М.Н.:** В каком звании вы...

**К.Д.:** Никакого, это потом мне звание присваивали, а я был самым обычным, это не было офицерское училище, это был просто... Но я там ведал, как это называлось, гидроакустикой, был старший гидроакустик. Поэтому очень хорошо познакомился с радио-, гидроакустикой, вообще с физикой, математикой, вот такими дисциплинами. Это было очень полезно, и когда я пришел с флота, меня сразу пригласили в Политехнический институт. Но у меня не лежала душа к техническим дисциплинам, я стремился куда-то, особенно на флоте, когда на кораблях мы долго бывали в море: ничего нет, все время качка, море — небо, море – небо, и ничего другого. Тут поневоле приходят какие-то размышления, так сказать, философского плана.

**М.Н.:** Абстрактного порядка?

**К.Д.:** О мироздании, о смысле жизни и так далее. Флот, он, видимо, повлиял на выбор в конечном счете... И я добрался как раз до центра, до Манежа. В это время шел дождь, я к Манежу подошел, и там, где двери у Манежа, какие-то углубления, и туда встал, под дождем, в укрытие такое, стоял, ждал какое-то время, час или сколько. И потом уже смотрю, народ ходит везде, я опять взял свой вещмешок и пошел к факультету, пока никого еще не было, а потом уже стали подходить люди. Открылся факультет, пошли студенты, сотрудники, приемная комиссия. А нам выдали... в общем, я не писал ничего, просто приехал с документами.

Прихожу в комиссию приемную, говорю: «Я хочу поступить на философский факультет». — «А вас кто-то вызывал?» Я говорю: «Нет, никто не вызывал». — «Ну а как же это так? У нас так не бывает, надо было нам написать, мы бы вам ответили, потом бы вызвали...» Я говорю: «Я не знал этого, просто взял все с собой документы...» И у меня документы даже не принимают. Я тогда говорю: «А кто у вас здесь руководитель комиссии приемной?» Они недовольно: «Вот, там он находится».

И я дошел до руководителя приемной комиссии. Я говорю: «Я приехал поступать, почему даже документы не принимают, в чем дело?» Там был очень большой конкурс, и поэтому никакой нужды не было принимать больше документов. Я с ним поговорил, и он пришел к ним и говорит: «Примите у него документы, и пусть...» А я школу с отличием окончил, с медалью, значит у меня не экзамен, а собеседование. И тоже там человек десять на место медалистов, а на обычную было двадцать четыре или двадцать пять человек на место. Факультет маленький был, но желающих очень много. Ну и вот, меня поместили в общежитие на Стромынке, тогда общежитие было на Стромынке, в Сокольниках. Потом вызвали, собеседование такого-то числа в такое-то время. Я пришел, и мне стали задавать вопросы. Один из членов комиссии был Косичев, он до сих пор жив еще.

**М.Н.:** Анатолий Данилович.

**К.Д.:** Да-да-да. Вот он одним из членов комиссии был. И мне стали задавать вопросы: «Какие произведения вы читали?» Я назвал Чернышевского, Добролюбова, Белинского, русских революционеров-демократов, Герцена, Гегеля что-то я читал, Канта, — в общем, начал называть. Они немного удивились, потом говорят: «Хорошо, а Маркса, Энгельса вы читали?». – «Ну да, читал». Тоже назвал какие-то [работы]. – «Ну хорошо, тогда скажите, «Анти-Дюринг» — что это за произведение?» Ну хорошо — я читал. Читал. Как читал — это другой вопрос. В общем, стал рассказывать, ответил. «Д-а-а, — говорят, — а вот теперь «Три источника, три составных части марксизма». Вы читали работу Ленина?» Я говорю: «Как это ни удивительно, читал». — «И что вы скажете?» Я рассказал эту работу, она же маленькая такая, в отличие от «Анти-Дюринга». Ну и так они как-то удивились все. Еще какие-то вопросы задали, говорят: «Хорошо, мы вам результаты скажем через несколько дней». А у меня уже деньги кончились, осталась мелочь какая-то. Ну и на обратный билет. И особенно я не могу никуда идти подрабатывать, потому что жду в любое время вызова. Сижу в общежитии голодный. Я единственно батоны покупал, белые, большие, и чай с сахаром. И вот неделю примерно, пока все это они решали, я ел эти батоны и пил чай с сахаром. Ничего другого не было. И мне это настолько надоело, что с тех пор я несколько лет, по-моему, не мог видеть этих батонов и чая. Прошло не помню сколько дней, меня вызвали и говорят: да, вы зачислены. Я прямо прыгал, от радости, потому что уже и надежды не было, медалистов многих не приняли.

**М.Н.:** Ваш год поступления — это...

**К.Д.:** 1954-й. Таким образом я вернулся домой. Дома, конечно, никто не верил, что я поступил.

**М.Н.:** То бишь, в Харьков вернулись?

**К.Д.:** Да, в Харьков. Никто не верил, говорят: «Это он все так просто говорит. Никто его не принял, там такой конкурс». А потом меня мама спрашивает: «Ты правда поступил или ты просто успокаиваешь?» Я говорю: «Правда поступил». Она даже заплакала: «Ну, молодец, хорошо, я знала, что ты поступишь». Она действительно такая была, говорит: «Раз ты хочешь, ты должен поступить», — всегда поддерживала. Отец к этому времени умер, она осталась одна, нас четверо, и она одна.

**М.Н.:** А отец рано умер довольно, да?

**К.Д.:** Отец рано умер от рака желудка.

**М.Н.:** Он курил?

**К.Д.:** Курил, да, как все мужики.. Хотя был очень здоровым человеком, но не выдержал, видимо, война и такие условия, не выдержал. И с этого уже, когда к сентябрю я приехал, опять поселились все мы на Стромынке, ездили на Моховую, где сейчас факультет психологии. Там был философский факультет. Единственное — физику, химию, биологию — в общем, весь цикл естественных наук мы изучали уже в новом здании. На физическом факультете, на биологическом факультете, на химическом факультете. А математику — к нам приезжали математики на факультет, но кое-какие лекции слушали тоже на мехмате. То есть весь цикл естественных дисциплин.

**М.Н.:** Расскажите про преподавателей и про обстановку на факультете.

**К.Д.:** Ну теперь насчет преподавателей.

**М.Н.:** И вашу специализацию.

**К.Д.:** С первого сентября я с огромным удовольствием ходил на все занятия поначалу, потому что интересно было, все-таки это лучший университет Советского Союза. Считалось, и лучшие преподаватели и лучшее преподавание, — оно, видимо, так и было. Мы встретились там с очень разными преподавателями, разного уровня, разных знаний, разной культуры, разной методологии и методики преподавания.

Первое, что бросилось в глаза, — сами кафедры. Например, кафедра зарубежной философии была самой сильной и самой мощной, что ли, на факультете. Возглавлял ее тогда, теперь еще жив, слава богу, Теодор Ильич Ойзерман, он тогда был доктор философских наук, профессор. Вместе с ним на этой кафедре работали Валентин Фердинадович Асмус, Михаил Федотович Овсянников, Юрий Константинович Мельвиль, ну и целый ряд первоклассных преподавателей, и молодых, и более пожилого возраста. Это вот эта кафедра.

Кафедра диамата другого уже плана. На этой кафедре таких заметных очень фигур не было, чтобы сразу выделялись какие-то мощные профессора. Там в основном они были примерно одинакового уровня, и этот уровень, может быть, был не самым высоким.

Кафедра русской философии, Щипанов возглавлял ее. Кафедра в основном занималась преподаванием наследства русских революционеров-демократов и материализма. В этом смысле она была очень ограниченная. Она давала, это великолепно, и эти фигуры были великолепные, не только Герцен, Чернышевский, Белинский, Добролюбов, но еще Шелгунов, Самарин и еще целый ряд русских мыслителей. И это было интересно, это и фигуры были интересные, но никаких уже идеалистов типа Владимира Соловьева и в помине не было. Практически они были запрещены, их работы находились в спецхране, поэтому мы в основном изучали русских революционеров-демократов и материалистов.

**М.Н.:** Вы специализировались по этой кафедре, правильно?

**К.Д.:** Нет. Я сейчас скажу. Дальше, кафедра психологии, самая интересная была. Самая маленькая кафедра и, казалось бы, самая второстепенная, но там был Леонтьев, не теперешний Леонтьев-сын, а отец Леонтьев. Он был заведующим кафедрой. Выдающийся психолог. Затем там же Лурье был, тоже выдающийся психолог, Гальперин, выдающийся психолог, и целый ряд других. Хотя на эту кафедру шли, как правило, более отсталые, не то что более отсталые — но не самые лучшие студенты, но состав кафедры был великолепный. Потом эта кафедра стала факультетом, причем каким факультетом. И труды они выпускали великолепные совершенно.

Затем кафедра логики. Там был Таванец на этой кафедре, Черкесов, Попов Павел Сергеевич. Попов вообще был выдающийся человек, преподаватель, профессор. В общем, если посмотреть, в целом действительно целый ряд очень интересных людей. Кроме того, молодые в это время защитились. Защищали на наших глазах, при нас уже, диссертации, Эвальд Васильевич Ильенков и, конечно, Зиновьев свою диссертацию «Восхождение от абстрактного к конкретному», вокруг которых был большой шум, вокруг этих защит и этих диссертаций. Самое интересное, что руководителем этих аспирантов был Теодор Ильич Ойзерман, о чем мало кто говорит и как-то не упоминают. А это не просто так, руководить такими людьми и такие диссертации выдавать. Так что это была прямая заслуга Ойзермана, что он руководил такими аспирантами, и они писали под его руководством такие выдающиеся диссертации.

В общем, на факультете обстановка была очень напряженная, спорная, шла борьба скрытая между, условно говоря, марксистами-ленинцами и между людьми, которые придерживались иных взглядов. И некие одиозные фигуры были типа Белецкого, еще целого ряда, которые, по существу, занимались доносами на других преподавателей и студентов тоже. И обстановка была, в общем, довольно нервозная. Хотя в это время уже начинался период оттепели в целом, потому что 1954-й, 1955-й, 1956-й, ХХ съезд, разоблачение культа личности Сталина… Это все перевертывало наше сознание, потому что мы все верили в истинность этой философии, этой идеологии, в Сталина, в Ленина… А тут разоблачение культа Сталина. Это все перевернуло сразу многие вещи. И на этой волне разоблачения… переоценки раньше незыблемых ценностей, у нас кипела вся наша учеба, мы спорили иногда с утра до ночи или с вечера до утра. Мы все время спорили друг с другом, это все перевертывало наше миросозерцание. И, конечно, хорошо, с одной стороны, что такая ситуация была, потому что мы почувствовали, что есть...

Да, кафедра зарубежной философии вносила свой вклад: они все время приглашали зарубежных философов на факультет из Соединенных Штатов, из Великобритании, из Германии, из Франции, из Италии... Приезжали, выступали, и мы слышали буржуазных философов воочию, беседовали с ними, задавали им вопросы. И мы — это расширяло наш круг, — и мы понимали, что существует не просто одна философия марксизма-ленинизма или марксизма как такового, но существует, во-первых, разный марксизм, и потом, существуют различные философские школы: и позитивизм, и неопозитивизм, и экзистенциализм, и психоанализ, и лингвистическая философия, семантическая философия и так далее. То есть мы были совершенно поражены, насколько мгновенно стал расширяться наш диапазон изучения философов, философии, раньше этого ничего не было. И мы с жадностью набрасывались на изучение трудов зарубежных философов, и западных, и восточных, с удовольствием все штудировали, и нам это необычайно расширяло и наши знания, и наш кругозор, и наши горизонты.

Постепенно мы стали специализироваться кто на чем. У нас читал лекции Валентин Фердинандович Асмус. В основном по Канту, спецкурс по Канту и по Декарту. И вот когда он начал читать по Канту, я был просто потрясен. Настолько глубоко, тонко и, я бы сказал, утонченно он понимал и излагал Канта, что даже не верилось, как это вообще возможно. Обычно же там: а, Кант — это дуалист, ну ты вот, Иванов, скажи, в чем ошибался Кант? Вставал студент Иванов и говорил, да, Кант — дуалист, с одной стороны материалист, с другой — идеалист, не совсем правильно понимал т*о*-то, т*о*-то, т*о*-то, — то есть вот такой вот примитивный уровень был понимания Канта. А Асмус показывал, насколько мысль самого Канта, насколько она была философичной, глубокой, диалогичной, диалектической, что говорить о дуализме, о каких-то примитивных вещах уже не приходилось. Я сразу написал курсовую по Канту у Валентина Фердинандовича Асмуса.

**М.Н.:** То есть вы пошли на кафедру зарубежной философии?

К.Д.: Да, на кафедру зарубежной философии. Тема была такая: «Религия в пределах только разума» Канта», потому что три «Критики» были довольно известные, и на них многие стали писать, скажем, кто специализировался по этой кафедре, «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». А вот четвертую «Критику», «Религия в пределах только разума», вообще никто не затрагивал. Я поговорил с Асмусом, говорю, я хотел бы, может быть, выбрать, потому что никто это не берет, никто это не исследует. Он говорит, знаете, это очень серьезная тема, но очень трудная, потому что вопросы, связанные с религией, из самых трудных для понимания и для, так сказать, решения. Я написал работу курсовую, отдал ее Асмусу. Асмус оценил ее очень высоко, поставил отлично. И потом я даже написал специальную работу по Канту, она была опубликована. Так начались мои как бы самостоятельные работы по философии.

**М.Н.:** Ваш язык был, соответственно, немецкий? Иностранный?

**К.Д.:** Мой язык был немецкий, но я в это время почувствовал, что одного языка очень мало. И начал изучать другие языки, точнее, начал изучать французский, итальянский, испанский, еще ряд языков, выучил довольно быстро... А вот когда поступил в аспирантуру (я еще буду об этом говорить), там я уже основательно занялся этим, и это было очень важно, потому что я тогда начал читать работы, нам разрешали в спецхранах читать, тот же Соловьев был в спецхране, я уже не говорю о буржуазных философах. Основные работы буржуазных философов были все в спецхранах, их не было, так не почитаешь. Это сейчас можно читать все что угодно и где угодно, а тогда на это надо было иметь особое разрешение. А когда уже я выучил языки, гораздо легче стало, можно было читать или в Библиотеке иностранной литературы, или, когда мы стали ездить, просто покупать. Когда я ездил за рубеж, я покупал книги, которые мне были необходимы, за рубежом. И читать, свободно читать, переводить и так далее. Но это другой вопрос.

Учеба на факультете была очень основательной. Но были преподаватели тенденциозные, например, был такой член-корреспондент [АН СССР] Иовчук. Он читал нам тоже типа марксистской философии. Но одно дело — формирование философии марксизма, которую читал тот же Ойзерман, великолепные совершенно лекции. Он очень хорошо читал, и потом это была его докторская диссертация, то есть он знал Ленина, Маркса, Энгельса, знал великолепно, и поэтому читал на очень высоком уровне. А что касается Иовчука, то этот человек не знал ни одного языка и был секретарем ЦК в Белоруссии. Потом его оттуда то ли сняли, то ли что, он стал преподавать, но успел пройти там в членкоры, хотя работ у него особо, по-моему, никаких не было, — по партийной линии, видимо. И вот он нам читал лекцию. Я просто запомнил это, потому что потом из-за этого потерпел. Он читал лекцию против, как их называют, ренегатов марксизма, против ревизионистов, в том числе против Лукача.

А во время зимней сессии, то есть после зимней сессии каникулы были, и мы, несколько человек, поехали в Ленинград. Поехали туда, я зашел в книжный магазин, смотрю, продаются книги на немецком языке, Лукача. Были книги такие(*называет по-немецки и переводит*) «Разрушение разума», «Юный Гегель» и, по-моему, «Die historische Roman», в общем, несколько книг Лукача. А, и, по-моему, «Субъект — объект». И я эти все книги купил, тем более тогда все книги стоили очень дешево: полтора рубля, два рубля. Я купил эти книжки, приехал в Москву и, пока были каникулы, я сидел, читал Лукача на немецком языке. Я был просто потрясен, настолько серьезные марксистские книги у него оказались, я даже думаю: надо же, никто нам этого ни на лекциях, нигде не говорил, это выдающийся марксист, настоящий, интересный марксист. И вот когда я прочитал, я думаю: надо написать об этом и начал даже писать о Лукаче, а потом не довел это до конца, только спустя годы довел.

И вдруг, вторая уже была сессия, второй семестр, Иовчук приходит и начинает нам читать о ревизионистах, и примерно в таком духе: «Вот, этот Лукач, Дьердь Лукач — отъявленный негодяй, реакционер, ренегат», — вот в таком духе. После того как я прочитал сам эти работы, и я слышу, как член-корреспондент читает нашему курсу на таком языке и вот такие вещи об этом Лукаче, я не выдержал, встал и говорю: «Позвольте, вы что нам здесь несете абракадабру какую-то, вы сами хоть читали хоть одну работу Лукача?» Он мне: «Кто вы такой, это что такое?» Я говорю: «Нет, это кто вы такой, вы же полный невежда. Я вот только что прочитал работы Лукача, — называю эти работы. — Это выдающийся марксист, глубокий марксист, настоящий марксист, я бы даже сказал, догматический марксист, а вы его клеймите как ревизиониста. Больше я на ваши лекции не пойду и не буду ходить». — «Как ваша фамилия? Оскорблять члена-корреспондента!» Я говорю: «Это не я оскорбил, а он оскорбляет нас своим невежеством. Как можно читать о Лукаче...? Да, во время венгерских событий он был включен то ли в правительство, то ли во что-то, но это вовсе не снимает того, что он написал ряд великолепных философских трудов, и именно марксистских трудов». Ну и меня начали трепать. Один день вызывают, прорабатывают, второй день, в общем, я тоже оказался ревизионистом. Потом вызывают опять, уже в который раз, в партбюро, сидит этот член-корреспондент, секретарь партбюро, еще несколько членов партбюро. «Садитесь». Я сел. «Ну вот, мы хотели, чтобы вы помирились». Я говорю: «Позвольте, я ни с кем не ссорился». – «Ну как, вы выступили против Михаила Трифоновича Иовчука». Я говорю : «Я не против него, а против того, что он говорил, а говорил он абсолютно непотребное, несоответствующее действительности, я это могу показать по страницам ». – «Нет, вот…» Я говорю: «Нет, я не буду мириться, потому что я не ссорился». В общем, в таком духе. Несколько раз я выступил в таком духе — на военной кафедре, когда они там тоже какую-то ерунду несли.

Какой результат был? На следующий год прихожу, обычные занятия, и вдруг мне звонят из ректората в общежитие, а я живу уже здесь, в высотном здании. «Такого-то числа, в такое-то время вас вызывает ректор академик Петровский». Я говорю: «По какому случаю?» — «Мы не знаем, пожалуйста, приходите вовремя». – «Ну хорошо». Я стал ломать голову, зачем я понадобился ректору. В это время [в МГУ] училось тридцать или сорок тысяч студентов, огромное количество. И почему ректор вызывает меня? Ничего не мог придумать. Прихожу в назначенное время, он выходит из кабинета: «Вы такой-то?» Я говорю: «Да, я». – «Проходите». Я прохожу. Он такой живой, энергичный, быстрый. «Садитесь». Я сажусь. «Вы не догадываетесь, почему я вас вызвал?» Я говорю: «Пытался, но ничего не пришло в голову». – «Ну тогда я вам объясню. Вот у меня ваше дело, заявление деканата, военной кафедры. Речь идет об исключении вас из университета». Я говорю: «Первый раз слышу».

**М.Н.:** А какой курс это был?

**К.Д.:** Это уже четвертый курс. Он говорит: «Может быть, вы мне объясните, в чем дело?» Я говорю: «Я не знаю, что объяснять, я что-то не очень... Действительно, я пропускал некоторые лекции, я вступал в полемику с рядом преподавателей , — привел пример вот этот, — и в том числе на военной кафедре, когда они городили ерунду, а я прошел флот, я кое-что знаю о военном деле, может быть, мало, но все-таки кое-что». – «Так вот, пожалуйста, все обоснования исключить вас из университета. Я вызвал, чтобы побеседовать с вами и убедиться, в чем дело. Как вы учитесь?» — «Я, — говорю, — нормально учусь». – «И что, вам нравится?» Я говорю: «Да, я с удовольствием учусь, сижу в библиотеках с утра и до ночи, в частности в библиотеке имени Ленина». — «Да, я смотрю, успеваемость у вас — одни пятерки. В чем же дело?» — опять он спрашивает. Я говорю: «Наверное, вот, может быть, действительно, в этих столкновениях, в том, что я не соглашался. Потом я выступал по ряду вопросов политических. Вот вышла статья Гранина «Собственное мнение», еще какие-то книги мы обсуждали, и я выступал. А, выставка Пикассо была в 1956 году, в музее [имени] Пушкина. Я ходил туда, смотрел, спорил там с некоторыми. Потом мне сказали: «Напишите статью в нашу стенгазету «За ленинский стиль», — у нас была на философском факультете газета, — о выставке Пикассо. Я написал статью, большую статью о Пикассо. Статья была хвалебная в целом, что Пикассо — это выдающийся художник, что да, у него были разные периоды, разные стили, но в целом это действительно много нового в живописи, он внес много нового. Меня на другой день вызвали, газету сняли вместе со статьей, меня вызвали опять в партбюро: «Вы почему проповедуете абстракционизм?» Я говорю: «Знаете, я, конечно, не специалист, просто обычный зритель, но мне понравилось». – «Это же чистейший формализм, абстракционизм! И вы это пропагандируете, проповедуете», — и в таком духе. Я говорю: «Можно подумать, что Пикассо — это наш враг номер один. Наверное, вы не знаете, он — член политбюро французской компартии, член ЦК, он коммунист, прогрессивный человек. А вы представляете так, что он чуть ли не враг номер один, а я — его апологет, это что такое вообще?» И я ему говорю: «Может быть, вот это все вместе взятое...» Он говорит: «Да, может быть. Мы давайте так поступим с вами: я не дам, чтобы вас исключили, но они от вас не отстанут. Поэтому я вам предлагаю перейти к нам на мехмат. У вас по математике, по физике, по биологии отличные оценки, вы догоните, можете окончить мехмат. Может быть, на год позже, потому что надо кое-какие предметы будет досдавать. Иначе они от вас не отстанут», — ректор мне говорит. Я говорю: «Вы знаете, мне осталось уже мало, надо подумать, может быть, мне вначале окончить, а потом уже к вам перейти, так сказать, или в аспирантуру поступить». Он говорит: «Давайте так договоримся: вы подумайте как следует и мне позвоните. И тогда уже будем решать окончательно. Но мои предложения остаются в силе».

Я был потрясен. Думаю, что же это за человек такой, другой подмахнул бы и все, а этот человек вызвал, тридцать с лишним тысяч студентов, а он вызвал, побеседовал и еще предложение сделал. А он был одновременно и ректором, и деканом мехмата. Я долго ломал голову… А он меня предупредил: «Особенно ни с кем не говорите о нашей беседе на факультете», — потому что понимал, что это опять против меня обернется. Я думал-думал и решил: надо все-таки окончить факультет философский, а потом в аспирантуру на мехмат по философским вопросам математики. Я набрал номер, звоню, и он сразу взял трубку — секретарь сказала, он взял трубку. Я говорю, это студент такой-то, относительно нашего разговора, ваших предложений. Я думаю вот так: я все-таки закончу, а потом к вам в аспирантуру. Он говорит: «Ну что же, очень хорошо, это ваш выбор, ваше решение, но имейте в виду: если вдруг передумаете, мои предложения остаются в силе. Но все зависит от вас. Так что смотрите. Но имейте в виду, что они вам... Вы еще почувствуете», — так он мне сказал. Я его поблагодарил, и все.

**М.Н.:** Кто эти «они», помимо Иовчука?

**К.Д.:** Он имел в виду некоторых профессоров философского факультета, в том числе и руководство — декана, деканат. Результат какой был: на этой же зимней сессии я почувствовал, как меня хотят «посадить» на экзамене, поставить двойку или что-то такое. Но поскольку я знал, что они будут делать, я готовился очень основательно и не дал им такой возможности. Все равно поставили пятерки, потому что никуда не могли деться. Комиссия есть комиссия, нельзя было особенно уж так. На госэкзаменах то же самое. Комиссия была очень большая, и б*о*льшая часть комиссии была за то, чтобы поставить отлично. Я действительно хорошо учился и хорошо знал предмет и отвечал прилично очень. А эти люди, некоторые профессора типа Алексеева, Черкесова, они за то, чтобы мне или тройку, или двойку даже поставить, завалить. Но б*о*льшая часть комиссии твердо стояла, и мне поставили — тем более у меня все были пятерки, – поставили пятерку. Таким образом, я получил диплом с отличием и подпись Петровского на дипломе. Но я с ним еще встречался потом, встречался по какому поводу...

Я еще студентом послал некоторые статьи свои, и они были опубликованы за рубежом, потом у нас. Зарубежные журналы попросили меня обратиться к Петровскому, чтобы он дал интервью о космосе… Он участвовал в этой программе довольно основательно. Ну и, поскольку я уже был знаком, я позвонил, и он откликнулся. Я пришел к нему, он вопросы задал. Он дал интервью небольшое, но очень серьезное. И это интервью сразу было опубликовано за рубежом, в зарубежных журналах, в Румынии, еще где-то. Через некоторое время меня вызывают. А, потом опять меня еще новый журнал зарубежный [попросил] интервью большое взять у Петровского, о дальнейшей космической программе, что Советский Союз думает запустить. Я опять взял интервью, он с удовольствием дал. И вдруг меня вызывают в ректорат, какой-то мужик сидит средних лет...

**М.Н.:** …А вы учились в этот момент? Уже после окончания это было?

**К.Д.:** Нет, это еще я учился. Да, учился. …И говорит: «Вы такой-то?» Я говорю: «Да, такой-то». — «А что это вы занялись вдруг журналистикой?» — «Я, — говорю, — так, просили меня, я публиковал свои статьи, потом просили интервью взять». – «А вы знаете, что для этого нужно иметь соответствующее разрешение?» Я говорю: «Первый раз слышу». – «А вы знаете, что это особая сфера? Это же космические исследования, секретная сфера». Я говорю: «Ну, наверное, академик Петровский знает, что можно говорить, а что нельзя говорить. Это я могу что-то не понимать, не знать, но он-то, наверное, лучше меня и лучше любого другого знает, что говорить для журнала, в том числе и иностранного, а чего говорить не следует». – «Мы вам рекомендуем вот что: прекратить эту журналистскую деятельность, если вы не хотите иметь неприятности. Этим должны заниматься специалисты».

**М.Н.:** То есть этот человек был из конторы, да?

**К.Д.:** Да, этот человек был, видимо, из соответствующей организации. И я, конечно, вынужден был свернуть эту журналистскую деятельность. (*Усмехается.*)

**М.Н.:** (*Шутливо.*)Космическую программу.

**К.Д.:** Да. Такая вот штука. Но все равно о Петровском у меня остались… И когда он умер (это был 1972 год — не помню точно), я, конечно, переживал, потому что сразу вспомнил наши беседы, особенно беседы об исключении меня, и как он среагировал на это... Это просто невероятно. Я всегда его вспоминал, будучи знаком со многими ректорами и прежде всего, скажем, с Ремом Хохловым, затем с Садовничим. Для меня Петровский всегда был одним из самых удивительных людей и как ученый, и как человек, и как, конечно, педагог, человек, который воспитывал не одно поколение студентов. Это поразительный был человек. В ближайшее время выйдет о нем статья, вы почитайте ее. Я об этом написал, потому что надо было обязательно написать.

ХХ съезд сыграл огромную роль в развитии нашего философского мышления, в раздвижении горизонтов, может быть, даже глубины какой-то философского мышления, философской мысли. Меня рекомендовали в аспирантуру, но мои злоключения на этом не кончились, потому что рекомендовали в аспирантуру, но в Институт философии, а не на философский факультет. Видимо, руководство не хотело, чтобы я учился в аспирантуре философского факультета. В Институт философии – ладно, в Институт философии. Я подал документы с рекомендацией Ученого совета философского факультета, сдал все экзамены на пятерки, причем я один сдал, по-моему, на пятерки, остальные на четверки, на тройки, — разные были...

**М.Н.:** А ваши однокурсники... Мы просто про однокурсников не поговорили, вы, может быть, вспомните кого-нибудь?

**К.Д.:** Однокурсники тоже кто куда, но они в основном на философский факультет стали поступать, кого рекомендовали.

**М.Н.:** А с кем вы учились на кафедре? С кем-то дружили, может быть.

**К.Д.:** Ну сказать дружить-то трудно... Мы дружили в общежитии с таким Средним. Средний Дмитрий Дмитриевич, Дима Средний. Но он погиб в авиационной катастрофе. Мы с ним жили в одной комнате, рубашками делились. У меня была одна рубашка, у него одна или две рубашки, и когда куда-то надо было идти, на танцы какие-то или в театр, если у него не было рубашки чистой, я отдавал ему свою, а он мне свою, когда нужно. То есть мы очень дружили. Но он погиб вскоре после окончания факультета. Летел из Болгарии, возвращался в Москву. Под Москвой самолет разбился, и он погиб. Он и Дробницкий, они вместе летели и оба погибли. Это был один из моих близких друзей.

**М.Н.:** Он на той же кафедре был?

**К.Д.:** По-моему, да, тоже по зарубежной кафедре. Были еще друзья, которые жили в Москве. Жили и живут в Москве, и мы сейчас с ними еще встречаемся и дружим, но Средний был самым близким другом, по-настоящему. Мы жили в общежитии все пять лет, то там, то там. В общем, как-то так. Он из Сибири, а я... Но все равно как-то у нас, мы близкие по духу были.

Другие у нас поступали — кто на факультет поступил, кто еще куда-то. В Институт философии из моих друзей, из моих однокурсников никто не поступал в этот год. А я поступал, сдал все на пять. Ну и вывесили там листок о поступлении, меня в списке не оказалось, я не поступил. Я очень удивился.

Я подошел к ученому секретарю. Это был Осипов, теперешний директор Института социологии, он был тогда ученым секретарем, молодой такой, способный, толковый человек. Я его спросил: «В чем дело, почему меня нет в списке, почему меня не приняли, я сдал все на пять, и реферат – отлично, все экзамены – отлично». Он говорит, лучше вам выяснить у директора института.

Директором института был в это время член-корреспондент Академии наук Федосеев Петр Николаевич. Я пришел к нему на прием, спрашиваю, в чем дело, почему меня не приняли. Он говорит: вот, читайте. Дает мне пачку писем. Профессора философского факультета Алексеев, Черкесов, затем... там была особенно одиозная фигура такая, я уже фамилию забыл. В общем, несколько профессоров, человек пять, наверное, письма написали в Институт философии о том, что я — антимарксист, антикоммунист и вообще личность совершенно непригодная для занятий философией и прочее, прочее – в таком духе. Я прочитал с удивлением, потому что профессора есть профессора, и чтобы профессора, группа профессоров выступила против студента, письменно, не поленились написать письма и направить их в Институт философии, чтобы меня не приняли в аспирантуру, хотя меня рекомендовал в аспирантуру Ученый совет философского факультета, для меня это было совершенно поразительно. И я спрашиваю: «Петр Николаевич, а вы читали эти письма?» Он говорит: «Да, читал». Я говорю: «И вы верите в то, что здесь написано?» Он говорит: «Ну конечно нет, хотя я допускаю, что вы как студент могли выступать с какими-то ошибочными взглядами, как любой другой студент, но то, что вы антимарксист, антикоммунист и прочее, я, конечно, в это не верю». Я говорю: «А тогда почему же вы идете на поводу, почему же вы меня не зачислили? Я единственный, кто сдал все на отлично. Тогда мне, может быть, подать на них в суд, потому что это чистая клевета?» Он улыбнулся и говорит: «Знаете, я вам этого не советую делать, это будет напрасно потерянное время. Давайте договоримся так: мы вас зачислим в заочную аспирантуру с сентября месяца, год вы будете в заочной аспирантуре, а через год мы вас автоматически переводим в очную аспирантуру. И все будет тихо, никаких скандалов, ничего. А сейчас поезжайте куда хотите, у вас целый год впереди». Я подумал, подумал, действительно, думаю, что делать, другого ничего не придумаешь. Говорю: «Ну хорошо, а это действительно будет так или это вы говорите для того, чтобы просто не поднимать скандала?» Он говорит: «Нет, действительно, что я вам говорю, мы так и сделаем». Я говорю: «Хорошо, ясно, тогда согласен».

И я уехал на Украину, стал искать работу. Работы нет. Прихожу куда-то, говорят: «А шо це такэ философiя?» Там даже толком никто не знает, какая философия, кому она нужна. Я зашел в отдел науки в обком партии...

**М.Н.:** В Харькове?

**К.Д.:** В Харькове, да. Я говорю: «Вот, окончил университет, надо на работу устраиваться, а, видимо, без обкома устроиться невозможно». Он: «Да, по такой специальности… Давайте попробуем». При мне начал звонить в некоторые институты, видимо, там ничего не получилось. Говорит, зайдите через несколько дней, я переговорю со своими знакомыми в некоторых институтах. Я зашел через несколько дней, при мне опять позвонил в Автомобильно-дорожный институт ректору и стал говорить, что приехал из Москвы, диплом с отличием, философ. А тот говорит: «Философ? Зачем нам философ? — Я слышу по телефону. — У нас есть, правда, кафедра марксизма-ленинизма, история партии, может быть, что-то найдем». Мол, давай направляй. Направили меня на кафедру марксизма-ленинизма Автомобильно-дорожного института, я там устроился ассистентом... Вначале посетил лекции, которые там читали. Конечно, это было что-то страшное по сравнению с философским факультетом, даже трудно сказать, что это было. Например, читал преподаватель лекцию по экзистенциализму (я сам слышал эту лекцию, пришел, чтобы послушать), где говорил следующее: «Что такое экзистенциализм? Экзистенциализм — это, видите, у нас по Сумской (центральной улице в Харькове, как Бродвей там) ходят стиляги вот с таким чубом, на высоких подошвах, в узких брюках и так далее, с галстуками такими... Вот эти стиляги и есть экзистенциалисты. (*М.Н. смеется.*) И вот экзистенциализм — это эти негодяи». Я был потрясен, я ничего подобного даже вообразить не мог.

**М.Н.:** А какая-то аргументация была у него?

**К.Д.:** Ну какая аргументация, такая же аргументация... Я потом спрашиваю: «Вы что, правда так считаете или вы это для хохмы, для смеха, как анекдот?» Он говорит: «А вы что, считаете, что это не так?» Я говорю: «Да это даже само собой разумеется, это чушь какая-то». – «Что?! Значит, вы сам такой?!» — и в таком духе. Я понял, что бесполезно что-либо говорить, возражать, выяснять. Вот на таком уровне шло преподавание, особенно современной философии. Полгода я преподавал, первый семестр, начал читать лекции, но в основном вел семинары, потому что мне не доверяли читать лекции. Слишком молодой, считали. А читали вот такого рода доценты.

А на следующий семестр понадобилось отправить кого-нибудь в Институт повышения квалификации, молодого, а молодых не оказалось, один я. И они вынуждены были меня отправить на курсы повышения в Киевский университет на полгода. Я уехал туда на полгода, и там начались опять такие же вещи. Выступал министр культуры Украины и нес примерно такую же чепуху относительно современной буржуазной культуры. Я вынужден был выступить во время его лекции...

**М.Н.:** А кто в этот момент был министром? Вы не помните его фамилию?

**К.Д.:** Фамилию не помню уже. Это был 1960 год, пятьдесят два года назад. И я говорю: «Что же вы, министр культуры, а говорите такие глупости?» Он взорвался сразу же: как фамилия?.. Я сказал, что на лекции больше ходить не буду. На другой день меня вызвали в партком: это что такое, это как? Я говорю: «Ну как можно слушать то, что он говорил?» И дословно привел. Говорю: «Это что такое, что же за министр культуры такой?» — ну и в таком духе. Тогда они говорят: «Вот что, — секретарь парткома всего университета киевского, — это правильно, что вы не хотите ходить на лекции, и не надо ходить, не ходите на лекции. Вы просто занимайтесь своими делами, а потом, когда все закончится, мы вам выдадим соответствующие документы, что вы прошли курс переподготовки, и все будет нормально. И вам хорошо, и другим тоже».

И я перестал ходить на лекции. Это было великолепно, я стал ходить в библиотеку с утра до ночи, в театры, изучать языки стал основательно, и так далее, то есть по своей программе. Я был так доволен, просто нет сил, а эти мои сокурсники, которые ходили, мучились и слушали вот такую дребедень, вот такие лекции. И завидовали мне, что мне дали разрешение не ходить на лекции.

И вдруг в августе я получаю телеграмму, что зачислен в очную аспирантуру Института философии Академии наук СССР, то есть Федосеев выполнил обещание. И я поехал в аспирантуру Института философии.

Но до этого были скандалы другого рода. Тогда даже на заочном, чтобы утвердить меня, нужен был научный руководитель, и подпись научного руководителя, и его согласие с определенной научной темой. Все, кому предложили на Ученом совете стать моим научным руководителем, все отказались. Потому что все уже слышали, что на меня поступили письма, что я антисоветчик, антимарксист, антикоммунист. И все отказались. Это мне рассказывал уже Бонифатий Михайлович Кедров, он в то время был членкором. И он говорит: «Я спрашиваю, а почему все отказываются быть у него руководителем?» — «Да это, — говорят, — какой-то антимарксист, антикоммунист». – «Я подумал: не может быть, чтобы студент, окончивший МГУ, был антимарксистом, антикоммунистом. И я, — говорит, — сказал: запишите меня его руководителем. Все удивились, но записали». И я получил телеграмму, что научным руководителем (это еще в заочной) утвержден Бонифатий Михайлович Кедров. Я был потрясен, даже не верил, думаю: «Надо же!» А он был выдающийся философ. А потом, когда я приехал, я позвонил ему, он пригласил меня к себе, и когда я...

**М.Н.:** А где он жил?

**К.Д.:** А вот здесь, улица Кедрова, это его отца, где-то рядом здесь, недалеко...

**М.Н.:** Понятно-понятно.

**К.Д.:** …Вавилова и Кедрова. Здесь где-то рядом жил. И когда я пришел к нему, он мне все это рассказал. Как никто не соглашался, а он согласился. И я стал аспирантом под его руководством. А он возглавлял сектор диалектической логики, где как раз были и Зиновьев, и Ильенков, и Лекторский, я еще там добавился. Вот такая вот история, совершенно удивительная, с такими перипетиями. Все время возникали какие-то непредвиденные препятствия, удивительные препятствия, сейчас это даже, может быть, и в голову никому не придет, что возможны были такие вещи.

Что я попал на философский факультет МГУ, что я учился на философском факультете МГУ и окончил этот факультет, я считаю это большим везением в своей жизни, потому что на факультете я встретил выдающихся мыслителей, выдающихся философов, о которых говорил. Это и Валентин Фердинандович Асмус, и Теодор Ильич Ойзерман, и Павел Сергеевич Попов, и многие другие. И это, конечно, великое счастье, что ты учился именно там, где хотел учиться, и что встретил выдающихся мыслителей, профессоров, преподавателей, с которыми удавалось и беседовать, и слушать курсы лекций, и специальные курсы. И это, конечно, было великим стимулом для всей жизнедеятельности.

И второй момент — если говорить об учебе, я также очень высоко ценю и считаю тоже, что мне очень повезло, что я был просто счастлив, когда поступил в аспирантуру Института философии Академии наук СССР. Там тоже я встретил выдающихся мыслителей и старшего возраста, таких, как Бонифатий Михайлович Кедров, бывший тогда членом-корреспондентом, потом он стал академиком, потом он стал директором Института естествознания и техники, а затем и директором Института философии. В то время он заведовал сектором диалектической логики.

Сектор этот был небольшой, но там действительно были и в то время уже очень известные люди, а потом они стали просто выдающимися людьми. Это, конечно, прежде всего сам Бонифатий Михайлович Кедров как руководитель, и Эвальд Васильевич Ильенков как старший научный сотрудник сектора, и Александр Александрович Зиновьев, и теперешний академик, с которым мы вместе в аспирантуре были, Владислав Александрович Лекторский, и ряд других людей. Это был удивительный сектор, он привлекал не только тех, кто непосредственно работал в Институте, но и людей из других университетов. Например, в нашем же секторе работал, я уж не знаю, на полставки или как, ректор Ростовского университета Юрий Жданов. Он писал статьи, мы эти статьи обсуждали, он приезжал на обсуждения, участвовал в работе сектора. И целый ряд других очень интересных людей. Учиться в аспирантуре и быть в этом секторе – это было действительно великое везение. Бонифатий Михайлович построил работу сектора таким образом, что все: доктор, профессор, старший научный сотрудник, младший научный сотрудник, просто аспирант — все были одинаковы. Все в одинаковой степени писали статьи, читали статьи, обсуждали статьи, критиковали друг друга за какие-то недостатки, помогали друг другу улучшать качество работ.

Это было удивительное время и удивительный коллектив. Вот там я многому научился: как надо относиться ученым друг к другу, как надо быть объективным, не просто захваливать статьи или работы друг друга, а, напротив, оценивать очень строго, очень объективно, основательно и вместе с тем всегда благожелательно и всегда конструктивно. У нас всегда были такие обсуждения, причем на эти обсуждения мы все ходили с огромным удовольствием, потому что это была для всех нас великая школа, великая школа именно науки, школа научного мышления, научных размышлений, научной мысли и одновременно научного творчества. Это были незабываемые годы.

Мало того, после каждого заседания сектора нам не хотелось расходиться, настолько было интересно. И мы иногда после заседания сектора шли в гости, скажем, к Эвальду Васильевичу Ильенкову, он жил тогда в Художественном проезде, у него была большая квартира, четырехкомнатная, по-моему. Мы шли туда всем сектором, кто хотел, приходили к нему, а поскольку он был очень большим...

**М.Н.:** Кто это обычно был?

**К.Д.:** Ильенков, Зиновьев, Лекторский, я, Мотрошилова бывала там, еще целый ряд, — в общем, все, кто хотел. Конечно, сам Кедров на эти посиделки не ходил, а мы все, кто был в секторе, приходили.

Эвальд Васильевич, как самый большой любитель и ценитель Вагнера, включал музыку Вагнера. Он, кстати, прошел всю войну, так же, как и Зиновьев, и привез с собой с войны большое богатство — по-моему, полное собрание сочинений Вагнера, пластинки с его операми. И он ставил какую-то оперу Вагнера, мы слушали музыку, причем поначалу не все были любителями Вагнера, но потом почти все стали вагнерианцами, эта музыка нас всех стала захватывать, она действительно какая-то удивительная совершенно. У нее такой пафос, такая глубина, какой-то революционный дух в самом хорошем смысле этого слова, дух, который все обновляет.

Во время слушания или после мы, конечно, пили вино, беседовали. Продолжали споры, которые были на секторе, или начинали новые. Причем споры были настолько жесткими и активными, что иногда приходилось даже разнимать, скажем, того же Ильенкова и Зиновьева, потому что они прямо трясли друг друга, доказывая свою правоту. Совершенно поразительная была атмосфера, по-настоящему творческая, по-настоящему научная, добросовестная и доброжелательная. И когда говорят, что (я часто слышал, недавно у нас была конференция, я там выступал) в Советском Союзе не было философии, это была чистая идеология, а философии никакой не было, это чепуха. В Советском Союзе была философия, и очень высокая, глубокая, настоящая философия. Другое дело, что одновременно философию использовали как своеобразную идеологию, но это разные вещи. Но то, что философия тогда была на очень высоком уровне…

Кедров разрабатывал, например, философию естествознания, сам он разрабатывал как руководитель, как ученый и как руководитель сектора диалектической логики, логику естествознания, то есть философию естествознания, это же великолепно было, это действительно философия настоящая была.

Ильенков занимался проблемой идеального, причем как занимался, на каком уровне! Я когда попал в Италию в первый раз в 1970 году на Всемирный философский конгресс «Человек и природа», и когда я слушал там выступления, итальянские философы взахлеб говорили: вот у вас там философ есть такой, Ильенков, это же выдающийся философ! Он решает на таком уровне сложнейшие философские проблемы, проблемы сознания, самосознания, идеального! У нас таких философов нет. И они переводили его статьи вначале, а потом стали переводить его книги. То же самое я потом слышал о работах Зиновьева, о самом Зиновьеве и во Франции, и в Италии, и в других странах. Это же не случайно. Это не просто так, а действительно оценка профессионалов-философов, таких же профессионалов-философов, какие были в Советском Союзе. Это поразительно.

Годы учебы и одновременно работы в секторе диалектической логики в Институте философии я всегда вспоминаю с огромным удовлетворением, потому что это была школа для нас, молодых аспирантов, молодых философов, которая не всегда и не везде складывается. Не всегда и не везде попадаются такие люди, как Кедров, который, с одной стороны, дает полную свободу для мышления своих аспирантов, молодых сотрудников. А с другой — очень требовательно относится, чтобы мысль была не о чем угодно и неизвестно как сформулирована, но чтобы это была строгая логическая философская мысль, настоящее философское мышление — глубокое, утонченное, строгое в логическом смысле и, конечно, обоснованное научно. Вот это удивительно. В этом смысле я вспоминаю об этих годах как о лучших в своей жизни, потому что они дали основу, которая потом помогала мне в жизни решать любые проблемы. Потому что после этого, когда окончил аспирантуру, я решил уехать куда-нибудь подальше, в Сибирь, на Дальний Восток. В Москве мне немножко приелось, и я вовсе не хотел оставаться в Москве, как это часто сейчас принято, да и раньше тоже, — остаться любыми силами в Москве. Напротив, я хотел уехать, чтобы себя проявить, что я могу где-то там, где даже нет, скажем, такого коллектива, как здесь. И я решил уехать как можно дальше, тем более что у меня кончалась уже прописка.

Но вдруг мне позвонили по телефону из ЦК КПСС и попросили зайти на беседу. Я не знал, о чем беседа. Думаю, надо зайти, раз просят. Когда я пришел, состоялась такая беседа: могу ли я преподавать философию на каком-то языке. Я говорю: «Трудно сказать, я не пробовал, но наверное: я выступал на французском, на итальянском, на немецком языках. Но чтобы преподавать более-менее свободно, наверное, надо подготовиться, это не такая простая вещь». – «Сколько вам на это нужно?» Я говорю: «Месяц-полтора-два, по крайней мере». – «Давайте, готовьтесь, если у вас получится, мы вам дадим и прописку, и квартиру, будете преподавать философию. На каком языке?» Я говорю: «Давайте французский». Немецкий тогда почему-то не было необходимости, французский и итальянский надо было, испанский еще. Я говорю: «Давайте я подготовлю, наверное, итальянский или французский». – «Ну вот, — говорят, — итальянский, там потребность». И я остался. Меня перевезли только в какое-то другое общежитие. Здесь, на Вавилова, было общежитие Академии наук, а меня перевезли на Новопесчаную. «Только, — говорят, — не попадайтесь милиции, а то вас заберут, а у вас ни прописки, ничего. Мы вас вызволим, но все равно лучше не попадайтесь». Я сидел и готовился, полтора месяца или сколько, с языком работал, сам. Назначили день, час, я должен был выступить с лекцией перед итальянцами на итальянском языке, ни разу не побывав в Италии.

**М.Н.:** А что это было за мероприятие?

**К.Д.:** Это был Институт общественных наук при ЦК КПСС, где учились руководящие кадры рабочих и коммунистических партий. Была целая группа итальянцев, человек двадцать, и я выступил перед ними с лекцией по философии. Три человека из ЦК КПСС присутствовали, они слушали и оценивали мою лекцию. Были вопросы, все-все-все, потом, когда кончилось, итальянцы аплодировали, а представители ЦК сказали: «Мы вам сообщим о нашем решении». Через некоторое время меня вызвали, сказали, что принято решение, что подходит, но надо, конечно, улучшать то-то и то-то. Я говорю: я понимаю, что нельзя так, с ходу. – «В общем, идите в хозяйственный отдел, вам дадут смотровые, выберите себе квартиру, пропишитесь, будете преподавать». Таким образом я остался в Москве. Мне дали квартиру, которая мне понравилась...

**М.Н.:** А где вы поселились?

**К.Д.:** Мне давали двухкомнатную на первом этаже, в хорошем кирпичном доме на Соколе, но она была темная, не понравилась. И я здесь, в Черемушках, выбрал на третьем этаже светлую, но однокомнатную квартиру, за что меня все ругали.

**М.Н.:** А в Черемушках...

**К.Д.:** Это на улице Гримау. Прописали меня, и я стал преподавать в Институте общественных наук. Преподавал несколько лет, потом руководитель кафедры создал учебник по философии...

**М.Н.:** А кто руководил кафедрой?

**К.Д.:** Курсанов такой, доктор, профессор. И когда я выступил с критикой учебника, потому что учебник был довольно примитивный, он как заведующий кафедрой провел против меня атаку как против противника. Я тогда пришел к ректору и сказал, что или я перехожу на другую работу, или переведите меня куда-то, потому что мы не можем работать в такой атмосфере. Я говорю: «Я выступил объективно. Объективно указал на недостатки учебника, а он обиделся, и теперь меня врагом считает». Но никаких мер не было принято, и мне предложил академик Егоров, главный редактор журнала «Коммунист», перейти к нему в журнал консультантом. Я дал согласие.

**М.Н.:** Это был какой год?

**К.Д.:** Это было в конце 1960-х годов... 1966—1967-й, точно не помню, но вот в эти годы. И я перешел. Мне решили в Институте вынести строгий выговор или выговор за то, что я ухожу. Но я сказал: «А же ухожу не куда-то, а в журнал «Коммунист», это орган ЦК КПСС. Здесь институт при ЦК КПСС. За что же выговор?» В общем, выговор не дали мне, я перешел в «Коммунист», стал работать консультантом отдела философии, затем культуры. Работал там журналистом, статьи заказывал выдающимся ученым и деятелям культуры самым разным, например, Шостаковичу или Николаю Николаевичу Семенову, Нобелевскому лауреату, или секретарям ЦК, или например, Амбарцумяну, дважды Герою, астроному, который в Бюракане, и так далее. То есть это был как бы высший уровень журнализма.

**М.Н.:** А ваш интерес к эстетике появился когда?

**К.Д.:** Интерес к эстетике появился, когда я еще учился на философском факультете. Михаил Федотович Овсянников, который работал у Ойзермана на кафедре зарубежной философии, начал читать курс современной буржуазной эстетики. И вот мы, четыре человека, слушали этот курс, нам очень понравилось. Он читал неспешно, спокойно, в одной из гостиных в новом здании, там были кожаные кресла, светло, огромная гостиная, и мы сидим там, четыре человека, и он нам читает четверым курс по современной буржуазной эстетике. Нам всем очень понравилось, и я увлекся этой эстетикой и постепенно начал все больше и читать, и писать по эстетике, это с тех пор пошло.

После «Коммуниста» (я там работал несколько лет, школа была великолепная в смысле журнализма и в смысле писанины, как надо писать, чувства слова) меня вызвали опять в ЦК и предложили несколько вариантов: директором Института философии, директором Института мировой литературы и директором издательства «Искусство».

**М.Н.:** Сильное предложение.

**К.Д.:** Да, но я тогда не дотягивал до таких высот, решение было быстро принято без моего согласия: назначить директором издательства «Искусство». Я даже не соглашался вначале, когда мне сказали, думаю, ну какой я издатель, я все-таки больше теоретик, философ... А книжное дело — особое дело. Но уже бумага была в ЦК подписана, деваться некуда.

И я пришел в издательство «Искусство». И когда я познакомился с издательством, настолько была интересная работа, настолько хорошая, и я встречался со всеми выдающимися людьми нашей культуры, со всеми. Кого можно назвать: Уланова, Козловский, Свиридов, Шостакович, Томский... Скульпторы, художники, композиторы, кинематографисты, — то есть весь цвет, вся элита нашей литературы и искусства. Со всеми я встречался как директор, беседовал, заказывал им какие-то книги, они приносили рукописи. Это было настолько интересно! Мы в год выпускали около четырехсот книг, причем каких книг! Я впервые тогда издал всю древнерусскую иконопись, меня хотели исключить из партии за это. Древнерусские города, двенадцатитомную историю архитектуры, новою серию «Мировое искусство в памятниках», или «Мировая культура в памятниках», десятитомную, даже больше. Каких только серий... «Жизнь в искусстве», сотни книг, выдающиеся деятели искусства, и наши, и зарубежные, — это была невероятно интересная работа, я прямо не ожидал.

И в самый разгар, когда в расцвете все это было, мне опять звонят и вызывают в ЦК КПСС на беседу с Сусловым. Я понял, что, наверное, мне уже не работать в издательстве. И когда я пришел, беседа была довольно [продолжительной]... Может быть, минут сорок. Он меня расспрашивал, кого я знаю из деятелей культуры, науки, с кем я общался, какие тенденции в науке, в литературе, в искусстве, — в общем, довольно серьезная, конкретная беседа...